

Пошто ты не носишься со мной, как дурень с писаной торбой?

Не поклоняешься мне, как древние египтяне – кошке?

Не улыбаешься мне, как рекламирующие orbit?

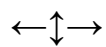
И глаза твои не вылезли из орбиты на крабьей ножке,

лицезрея мою красоту, и талант, и другое, ну же?!

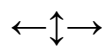
Почему ты, скотина, думаешь о работе,

когда нужно любить меня и не нужно

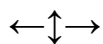
ничего больше?!



Познавали меня адамы –
не познали (такие дамы
нынче, видимо, как-то, мы
не-по-что-то-зна-ва-е-мы).
Познавали меня, как с древа
сочный плод, а осталась – дева,
экий казус – в слезах платок –
ой’д не знает меня никто!



рядом со мной в электричке ехал ёханный бабай,
он представлялся каждому, надеясь, что ему ответят тем же,
но все отворачивались, только один сжалился и, слегка дрогнув в его сторону
подбородком,
отрекомендовался как гребанный идиот
так они и ехали до самых нижних котлов:
ёханный бабай, гребанный идиот и старушка, позже оказавшаяся чертом

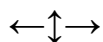


Папа у тебя граммофон,
мама у тебя графоман,
если спросят, так и скажи,
дескать, граммофон, графоман.

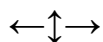
Никогда не ври. Говори
только правду, так, мол, и так,
ничего не сделать, увы,
вот ведь, графоман, граммофон.

А начнут тебя попрекать,
Граммoфоныч, тем, кто ты есть,
графомамой всякой дразнить,
граммофазером обзывать,

ты сыграй им, детка, и спой,
отчебучь им степ и галоп,
ай-яй-яй, скажи, ну-ну-ну,
пальцем погрози им и съешь.



Взлохмаченную и сонную, прошедшую мимо зеркала,
перо не заметив белое в каштановых волосах,
ты чаем согреешь байховым и прямо в пижаме байковой
уложишь опять в постель меня, с улыбкою на часах.
И все, что я вспомню замертво, ты скажешь мне в ухо тихое,
прошепчешь мне в тихо ухом, в морскую улитку их,
и где-то на дне старания из пены твоей Урания
поднимется и засветится в причудливых снах моих.
Жираф-гумилефф из Африки заглянет в лицо лазурное,
в ночные зрачки подвижные, в двоящийся трепет век,
и скажет «привет» приветливо, с во рту полуголой веткою,
пятнистый, как все жирафы, улыбчивый человек.

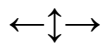


бледные машины в туманном воздухе
перебирают колесами медленно
дерево кажется шире и пасмурней
птица его не находит гнезда его

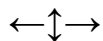
мечется рыбьими икринками в выдохе
влажного рта пузырится шампанскими
мелкими шариками опьянительно
руку целует уходит как будто бы

лошади бледные блин заболоцкие
длинные ноги разбили асфальтами
трасс скоростных и туманные головы
свесили с каждого столба фонарного

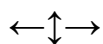
может быть я не люблю тебя может быть
я не люблю тебя может быть я тебя
просто боюсь потерять в этом мареве
вареве крошеве маленьких капелек



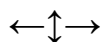
ты же понимаешь где ты кто ты ноты
понимаешь взлеты бены готы готты
убежали гунны свет во тьме запрятав
пожелтела осень тихо и опрятно
как старушка божий одуванчик чепчик
белый бы надела в день своей пречестной
смерти солнце светит свет струится длинный
луч пронзил все ветки выдохом единым
и застыл янтарный



Зима осенняя, облысевший череп земли, беззубый. В серую сушь холодов, словно в будничный праздник,ходишь эн раз, не считая уже за безумье давку в автобусе, грустные лица усопших, стоя просопших свои остановки, пропавший день миллионный, спешащий к пропавшим собратьям, тихо теряя свои очертанья...Прости нас, Господи, мы – не такие. Прости нас за это. Выйти из этого круга, сойти с карусели, кружащей так, что вокруг ничего не рассмотришь...Ты подари мне под елочку солнечный зайчик, я поселю его в сердце и буду им греться, буду смотреть на него, и чихать, и смеяться, и замедлять на лице промельканье теней.

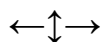


- Апанас, Апанас, лови кошек, а не нас, – говорю я, становясь в этот же миг этим неведомым Апанасом и вслушиваясь в свои ищущие хлопки, как в чужие. Я кружусь в абсолютной темноте, не умея снять повязки с глаз и всё ищу Тебя. Но нахожу в лучшем случае таких же апанасов. Мы охлопываем друг друга, убеждаясь в своей ошибке и трогаемся дальше. Где Ты? Аукни, подай голос, хоть сдавленный смешок. Ведь смешно же – верно? – смотреть со стороны на всех этих слепых копошащихся петрушек. Поддайся детям, Ты же большой, мы никогда не выиграем у Тебя сами.

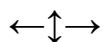


Аккордеоновна шла по ночной
летней пыли, утопая в ней мягко,
и комары на душе ее трель,
как тараканов и крыс, выводили.
Кнопки ее крокодилы слегка
здесь разболтавшиеся, там заевши –
е, подпевали зу-зу комарам
и собирали ей мысли в затылке.
Шла она, «Мурку» мычала под нос
и головою качала слониho,
вдруг повернулась *вот так* и пошла
задом вперед, на глазах молодёя.
Ночью не видно, конечно, лица,
но по походке, по общему тону
звука и цвета – понятно, что – всё:
через минуту – начнется – рассвет.

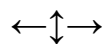
качается ветка и бабка кивает
на сухонькой лавочке всем подбородком
секунды роняя под рокот трамваев
пульсирующий в поднебесье короткий
ритмический резкий качается ветка
и бабка кивает согласно московско-
му времени тикает и незаметно
летают на лесках смешные стрекозы
а ты меня любишь? нет ты меня слышишь?
нет ты меня помнишь такого-то марта
в такое-то время и место потише
конечно ну что ты могу и без мата



юг твою мать прямо с севера дождь
семероного танцует в фонтане
в дробной луне его плавится грош
брошенный солнечный зайчик и танин
мячик (не плачь она тоже умрет
в девять, в тринадцать, а после – еще раз
в семьдесят два), ты все знай наперед
больно не будет влюбляться в веселых
мальчик не плачь это дело дождей
капля такой еще увеличитель
дырку как выжжет огромную здесь
слева – бездарно и незалечимо
мальчик не мяч понимаешь не плачь
Тань перестань обернись изумленно
солнце смеется и носится вскачь
красным щенком по стареющим кленам.

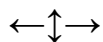


Птеродактиль заливается по-щучьи
в плотно сжатых евроокнах на березе
еле держится огромной синей лапой
рассверкавшейся на вымученном солнце
ты впусти его раскрой ей евроокна
пусть влетит оно хвостами задевая
разноязык подоконник книги ноги
пыльный веник сухостоя суховеет
Даша дай ему немного отлежаться
угловатому налей ему в стаканчик
одноразово и выпусти на волю
из другого – заднебного – окна

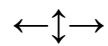


Цветущих вишен истошный запах —
сквозь розоватость и лепестковость
закрытых век — развивает скорость
дневного света. А мне казалось,
что ты забыл мне включить дыхание,
что в янтаре я жуком застыла,
и мира нету, а только ты есть —
в меня вглядевшийся, колыхаясь.

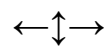
Сквозь опыт безвозвратности, когда
кричишь вдогонку, шаря по карманам,
но вор – сбежал, и кажется нормальным
закрыть глаза и отмотать назад
секунду за секундой, размещая
во времени события не так –
идти быстрее или вовсе стать,
чтоб отменить неожиданное несчастье.
Но мир нелепо крутится, живет,
смеется, разговаривает, дышит,
идет вперед, как вор, и если слышит
твой крик – не обернется на него.



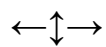
Старый человек с усами седыми
поцеловал меня вдруг в прихожей,
словно бы смерть попросил немного
там подождать. Окосев от страха,
он целовал меня, серый, страшный,
пахнувший дымом, небритый ново –
бранец, сражающийся с огромной
мельницей старости, смерти, жизни.
Я не была с ним великодушна.
Я оттолкнула в кадык торчащий
горло хрипящее, сухопарый
остов, схвативший меня прощально.
Он окосел еще больше, сжался
в мячик резиновый, прыгнул в небо
и растворился в сенильном свете
косточки, в землю уже зарытой.



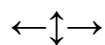
Бог – категория состояния (при глаголе бытия), исполненная любовью и свободой. А кто говорит о Боге, как об имени, знает, конечно, больше, но вот чувствует хуже. Сижу на кухне, чувствую себя плохо.



Просто у меня весеннее обострение чувства долга,
супружеского чувства долга, который мы перевыполнили в воскресенье,
отдали с процентами, практически треснули и облысели,
и больше уже не брали в долг так много.



Вот и ты, моя рыбка, плывешь в окне,
изгибая флексию, как разлуку,
натянув тетиву и шепча сквозь снег,
задыхаясь звуки, точнее буквы,
эсэмэся имя, целуя в глаз
киклопический голубой – мобилы
мои руки, губы мои до гланд,
это ты, любимый.

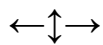


Отравившись, не хаваю, вот ведь, братан, просеки...

Ничего не получится с этим матримониальным
променадом вечерним вдоль маслом текущей реки.

Я слежу за дыханьем, я ровно дышу, понимаешь?

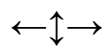
Получай же пером – под ребро, и свои пустяки
завяжи в узелок и закинь на последнюю полку
электрички сердечной, кровящей ночами строки,
превращающейся в идиотскую скороговорку.



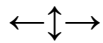
бескорыстный гласный петли скрипит
рыжий мех ушами прядет и спит
два лица сличающее стекло
придвигает ближе холодный лоб

под стеклом оранжевый сад саднит
по дорожкам сада бредут одни
далеко — от самых своих дверей
по дорожкам сонным оранжерей

их ладони свешены и пусты
по-осенни ласковые листы
вслед им машут машут теряя — из
то ли виду их то ли просто — смысл



Господи, отведи – беду,
стрелу. Стрелочку – переведи,
чтобы секунды, сбившись на миг один,
снова построились в череду,
мяту, ромашку, крапиву, душистый хмель
в чайнике маленьком, вечером, перед – сном...
Господи, воля Твоя... только – будь со мной,
не оставляй меня, как наступит – смерть.



Вспоминай меня! Да Бог с ней, с икотою...

вздогнем до смерти стаканами пьяными,

закуси румяным евовым яблочком,

э-эх, яблочко, куда же ты котишься!..

Расшатается зубами молочными

твоя память, безболезненно выпадет

нежность лиственная прямо из выемки

для хранения и без кровотечения.

Так и вижу как волчаею челюстью

ты заклацаешь на яблочко новое...

Вспоминай меня хотя бы по поміні,

homo homini est. Это по-честному.

Э-эх, яблочко, огрызок заветренный,

слепок прикуса, забытый на тумбочке,

свет в окошке распустился нетутошний,

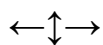
бюрократною луною заверенный,

зубьим месяцем, ее половиною...

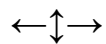
Номо homini – товарищ и родственник,

ничего, что ты совсем не воротишься,

потому что ты не съел, полюбил меня.

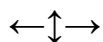


Медленно, медленно, быстро-быстро
тянутся вечности встреч глазами,
впадина времени – легкий приступ
паники, кажется, кто-то замер –
творчество выглядит пустяками
в выводе диссера нашей смерти,
Сизый, лучше бочку бы – нешта камень
катится приятнее? Колет сердце
маленьким щелкунчиком злая крыса,
цаца коронарная скоро лопнет,
медленно, немедленно, быстро-быстро
бьется о понтон в ночи рыба-лодка.
Реки расплетенные по-простецки
краше, потому что ты тих и светел
в нежности отпущенной рыбы-сердце,
пойманной, опущенной – в сетку.



Г.Ж.

Душа не может думать, не рисуя,
она рисует хижину в степи
и примусы, и он с глазами спит
базедово оскаленными в сумрак.
Я вглядываюсь так же дико – ты,
такой живой – теперь какой-то мертвый,
ты – мертвый, у тебя разрыв аорты,
раз – рыв а – ор – ты.



Это я! Это эякуля – цыц! – тут дети и тети...
мы читаем друг друга, мы вчитываемся взасос.
Я, что тот пылесос, хоботок загибая косой,
в самом темном углу застываю в гудящей работе.
Я – читаю тебя, ты – прочитан и понят. Во мне
совершается чудо тебя: сквозь рожденья и смерти
неизменная часть, сбросив аффиксы, греет и светит,
отражаясь на гулком глубоком сегодняшнем дне.
Бормочу тебя вслух, раскрывая тебя на любой,
и, глаза покотив, изнутри продолжаю на память.
Если спросят меня – я в тебе безвозвратно пропала.
Пусть поищут в тебе. Это, стало быть, значит, любов.

клёвая птица кивая своим долотом
прыгает мимо осеннюю грусть забивая
в самое яблочко в яблочкина червячка
что у меня у меня с моим собственным ртом
деется если слова замолкают бумажно
бабочками оживающими вдруг в руках
что это? все умирают а смерть – не идет
смотришь а смерти-то нету – иллюзия мая
я ничего не пойму но я все понимаю
и улыбаюсь себе как другой идиот
так пропускаю сквозь певчую полость поток
звуков и бликов становишься полый и чистой
дудочкой дурочкой полностью годной для свиста
ветра осеннего вслед и дрожит завиток

Благословенный снегом двор,
перенимая невесомость,
плывет, проскальзывает, так

одолевают лень, и твой
мир замерзает – тихий, сонный,
в попытке предпоследней встать.

Снег опускается, и старость
с небрежностью сыпаясь с ним,
растет внутри и деревянеет.

Прости меня, что я не стала
никем другим – никем, другим –
прости меня последним снегом.

рама рама рома рома
хари кришна лик пресветлый
попугайчик повторяшка
хрюшка
с новым годом
ты роди себе другую
назови ее надеждой
верой назови любовью
буду я другою
мы ведь не однофамильцы
и не родственники даже
просто шутка мироздания
сбой омонимия
анемия белокровье
солнышко зимою
пей побольше витаминов
может быть поможет

Море – и я опускаюсь на дно, открывшись
крови его, прохладной, идущей носом
в легкие, тишина наступает громко,
оглушена тишиной, я моргаю больно,
помня о море, забыв навсегда о суше,
долго ложусь на ребристый песок и вижу
волосы, устремляющиеся кверху,
плавающие водоросли и солнце.

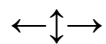
В.С.

Лодка в складку песка тихо ткнувшая нос,
как доверчивый пес с виноватым лицом,
все стоит у воды в о-кружении ос,
там, где август завис – windows'ом.

Так стоит перед мысленным взором, звучит
перед мысленным слухом – сильнее молитв
удивившее душу – и прячет в лучи
заходящего облика лик.

Но не то, что мы смертны похоже на нас,
а продленное вглубь измеренье строки,
возвращающее голоса, имена,
свет, и воздух, и берег реки.

Так обратно воссоздан весь прожитый мир,
все, что ты говорил мне распевно вчера –
переход в остановленный намертво миг,
в миг, куда мы придем умирать.

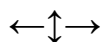


Позвонить. Сказать: «Здравствуйте, я люблю Вас
и просто хотела бы послушать Ваш голос.
Говорите». Он бы ответил: «Алло? Вас не слышно!»
и повесил бы голову на рычаг.
Потому что нельзя говорить: «Я люблю Вас».
Это не принято. Можно звонить, когда есть
повод – как это? – информационный,
а не причина же всех причин.

Трепещет белье на веревках осенних,
сорвется ли вниз или ввысь птицекрыло,
повиснет ли мёртво – никто не смутится,
на то и ноябрь, декабря, наступает.

Утрами вставать на работу, как ночью.
Холодной водой умываться и в черном
пальто уходить по знакомой дороге,
спеша – никогда еще так не ломило.

А шло б оно все – без меня – на работу,
а я бы лежала в пижаме ажурной
спала бы, читала, жрала бы конфеты
своим речевым аппаратом и, молча,
смотрела бы на бельевые веревки,
их влажные ветки и листья цветные.

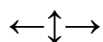


Пиццикато на нерве зубном тишины
(позвони мне!). Паук Паганини
догоняет по звукам мурашки спинных
полу целых частиц и на спиннинг
этой бóльной струны изловляет и ест,
аккуратные крылья слагая.

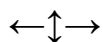
Полагая, что мухе, того, надоест
жизнь такая. Оне утекают
долговато – минуты, их бусинный плющ
украшает мне жерло веревкой.

Вот увидишь, поганец, что я – удавлюсь
из твоей, душегубец, уловки.

Поганинец твой выкину в форточку на
головные уборы прохожих
и прорвется на ноте восьмой тишина
телефонным зычком из прихожей.



под очками глаза приуменьшены вдвое
если ты их откроешь то я не сдержусь
поцелую тебя в них останусь с тобою
гюльчитай не снимай мля твою паранджу
стеклянью твою ледяную избушку
истекает слезами остаток зимы
ах захлопни ты что ли огромную душу
с завитыми ресницами окон тюрьмы
зачехли их обратно баюн окаянный
восхищенья а то говорят не снесу
ухайдокал ты дурень меня врать не стану
этим съемным устройством на красном носу



Весь паркер замело пургеном
и продолжает заносить.
Снежинка, тихо – have a seat
мне на ладонь и, будь агентом,
исполни блажь – продли сей снег
до самых Ид. Покойник Цезарь
знал, что не будет панацеи,
раз нож с утра видал – во сне
мне снился снег и с простынями
кровать, в которой тесно спать,
о, пролонгируй снегопад,
а то я умереть стесняюсь.
Мне снился снег невпроворот,
заносы, гробные завалы,
и яма свежая зевала
на перекрестьи двух дорог
приветливо весенним счастьем,
зрачки расширены ростков,
ну, просто сон такой вот, что
иди, иди, не прекращайся.

Этого никогда не было: ты – пришел,
с голосом так не похожим на правду,
с глазами темными (у тебя же светлые?) среди дня,
ни о чем не помня, даже о том, что умер.
Так бывает во сне, вот и спи, продолжай дремать,
что ты проснулась, я? Не читала правил?
Закрывай глаза: «...так не похожим на правду,
с глазами темными, с памятью, что зима
только что кончилась, снег еще *там* лежит,
там еще снег не таял, апрель не начат,
солнечный легкий, лоб улыбнувшийся, зайчик
лезет на стену и *там* продолжает жить».

От безнадежности и от надежды
взгляд стал другим –
надтреснутым, больным,
вцепляющимся, рвущимся и рвущим...
Так удочку из глубины пруда
выдергивают с рыбьею губою,
и рыба смотрит вслед, кровоточит
и мается непониманьем больным.
Ты больно тих, позволь я приложу
платок – к моей губе. Но вся округа
мешает рыбаку – шумит, живет,
пугает рыб и без того пугливых,
а я – млекопитающее, друг,
меня на червяка вот так не словишь,
но повредишь. Но – хочешь ли вреда?
Вреда ли – хочешь? Говори, не путай.

Сохраняю вегетативные функции, иногда
к солнцу тянусь лицом и носом морщусь,
вспоминаю: камни, ты, ерунда, вода –
с неба и с моря, ты, все как будто проще:
море, пространство текста, круги полей –
вырастет асемантический бог куриный
прямо в ладошке – кроток, зубаст и слеп,
будет копать нутро. Если б я курила,
я бы вдыхала дым, чтобы он издох
в страшных мученьях, недопрорыв мне сердце –
к свету, воде, камням, ерунде на вздор
где-то помноженной. И разделенной где-то...

Черва, стерва, червивое сердце, тоскливый червяк,
сделал дырку, проел переход с юга сердца на север,
потому ты сегодня рассеян, что в каменном сердце
пешеходная трасса, где ходят и грек, и варяг.
Чтоб проход не зарос васильками и прочей полынью,
ты на леску надел безделушку и мне подарил,
говорил мне «бери!», или нет – ты молчал «не бери!»
– и не брать было лучше. Когда ничего не получишь
в пустоту, в то стучалище, где сейсмозавр-инфразвук
тектоническим сдвигом сменил полюса организма,
начинаешь играть на последнюю ставку при жизни,
с бессердечием вдруг проиграть не желая игру.

Ахтунг хошпанунг и в обморок навзничь,
вспомнив осколки того, что не бьется
бьется (стучит), но не чашка, не блюдец,
вспомнив, как больно, что даже не плача.
Прошлое там еще, все еще живо,
заживо здесь похоронено. Ночью
по-приведеньи гремит и бормочет,
прячется в ночь с идиотской ужимкой.
Вот бы извлечь его с корнем и с кровью —
вырвать, таблеточку выпить и лечь бы,
пусть с некрасивой улыбкой — но легче
так улыбаться прореженной кроной.
Только хитро оно, как сумасшедший,
просто не выманить этого психа,
душно — и в обморок: душно и тихо
гав мне на шею ошейник.

Вот тебе пирог с дождевой водой.
Сонное лицо всунутое в тюль
смотрится в туман, и танцует дом,
потому что дождь, чё ты плачешь? Тю!
Вот тебе пирог, что забыт в саду
яблонею, стол яблоневый мокрым
темен от воды с яблони. Кладу
голову на стол в яблоневый бор.
Не пусти, стекло, голову во двор
в яблоневый бор, в робкие шаги
яблок, в их прыжки с неба в никого
толком не попав (значит, не погиб!).
Как же ты румян, яблонею и жгуч,
глаз не оторвать, как же ты румян...
Сонное лицо в тюле, как сургуч
с тайного письма, втиснуто в туман.
Почтою земно-небной переслать?
Яблоневый свет, влажность, долготу
гласного дождя, линии весла
клином по листу.

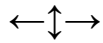
*

Ветхий какой-то, заветный платочек
в стираном платице детском, в кармане
бледного платица мною заплакан –
той еще, с хвостиком, девочкой-кошкой.

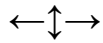
Даже края его забахромились,
кисточкой сделались, пахнут приметно
памятно школьной тетрадкой и куклой
с дерзко прорезанным алчущим ртом.

Ветхозаветный платочек – для кары
мирно припрятанный в полый кармашек –
плакать, смешав времена, забывая
повод, слезами на нем становясь.

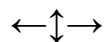
Мамардика давится от слез
прямо в сумке раной кровеня.
Вот тебе гостинец. Кто привез,
тот и съест, и сделается ею,
треснет спело, высунет нутро...
съешь меня и тоже станешь мною,
или просто так губами тронь –
снова, пробуй, медленно, бессловно,
мамардико – мраморную мну,
зафиксировавшую смиренный ракурс,
потому что шаг – и утону
в гуле ожидания и мрака.



Роюсь в словарях, наслаждаясь прелью
желтоватых листов в мелкой сыпи ятей.
Ничего не поделаешь: гены предков.
Книжный червь, точилище знаний, яблок,
от которых многие же печали...
Погружаюсь в буквы, что в черноземье,
это ход наружу, он – нескончаем,
потому что жить в словаре – блаженство.
Покрываюсь росписью и, запретно
табуретку томом увисив Даля,
превращаюсь в книгу и в самый крепкий
сон, мороз, маразм, на лету впадаю.



Лампа заснула, свесила голову,
мрачную голову утреннюю.
Не мудреней ей из масла прогорклого
света ночного всю ярость свою
порастерять под ярилом распатланным,
сонным и щурящимся всё еще.
Всё, я пошла – на работу ли, пятнами
ли светотени, тягучим плющом
зелени ли... Стеклenea погасшими
окнами в голову, где темнота
чьи-то стихи достает из заглашника
в воздух записанными без листа.
Светятся буквы и искорки падают,
кто мне в глаза заглянул – тот сгорел
белой бумагой. Такая вот надобность,
дайте ж скорей! –



Сон приходит на память, на мирный склероз,
и стоит в ожиданье свершенья и чуда,
а рука моя пишет чегой-то, всерьез
полагая наверно, что это – *оттуда*.

Сон стоит надо мною печальным слоном
с паркинсонным киваньем и утлой коробкой,
шлет слонихе поклон, шлет слонихе поклон,
вероятно, со сном научившись бороться
(то есть, значит, с собой). Засыпают ли сны?
Просыпаются ли, прикипевшие к яви?
Я, я думаю, сплю, и летают слоны,
и не могут заснуть, и проснуться бояться.

Я люблю Твои голоса,
и как свет дрожит в волосах,
и как Ты спускаешься Сам,
прикаса-...

Свет дрожит в ветвях, рассечен
чернотой, трескучей свечей,
в головах дрожит и печет,
свет течет.

Цвет и звук – без формы, в одной
простоте себя, кверху дном
опрокинув логики дом,
верхним «до» –

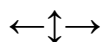
длятся мимо формы домов,
их квадратов (вечный ремонт
геометрий в самой прямой
из умов –

нашей у ли (-ца или -цы?),
подчеркните нужное – в цирк
всех рождений, в магию цифр,
в леденцы

зодиаков (рыбок и львов)).
Свет течет по формам голов,

огибая контуры слов
и углов.

У лица пушинка и луч
заигрались, дышат к столу
голоса Твои, тих и глух
свет в углу.

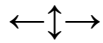


Этот свист и щелчки, эта дрожь и шипенье, двоясь,
обрастая высокими тонами в деке, - стихают,
замолкают стихи и, молчащие в столбик стоят,
затаив до читающего речевое дыхание.

Мир распахнут и ждет, на страницах его, что в кино,
шевелиющиеся муравьи переносят значенья,
опускается ночь, наши тени уходят стеной,
растянувшись улыбочиво и неестественно через.

Но оно продолжается, шоу твое (покажи),
даже если здесь вымерли зрители и тараканы
из голов их ушли и продолжили личную жизнь
за границею жизни земной, приземленной (покажешь?).

Этот свист и щелчки, это дрожь и шипенье, и спесь
пережившего опыт крошечного света и выси —
это там не берут, это нужно, наверное, здесь,
между створками книги, хранящей осенние листья.



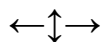
Язык – это вирус; его носитель,
больной языком, переносчик, где ты
его подхватил? (А-а-пчхи! – Спасибо!)
И болен-то не по-детски...

Язык пожирает тебя, он жарок,
его прометеев огонь не может
без дров. Отказаться?.. но ведь – подарок...
и лижет, и жжет, и гложет...

Снедаемый пламенем, жаром, жором
и поедом – кости одни оставит
язык – ты же меченный, прокаженный,
ты каторжник, зэк, ты – сталкер

из зоны несущий слова, ты знаешь
хоть что ты несешь, облучаясь сотней
рентген?! Этот солнечный сукин зайчик
прожжет в твоём сердце солнце.

Невидимый и невесомый нечто,
его пандемия необратима,
когда замолкает сверчком за печкой
тартила с куском тротила.



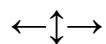
Всего день продержало в бреду, а потом – отпустило
(отлегло, отодвинулось, схлынуло, спало, сошло),
на бумаге оставив испарину – выпренный слог,
отдающий угодливым перениманием стиля.

Даже странно... Так словно бы снят вековой приворот
мановением чьей-то руки, рассудившей тверезо,
что фигня это, в общем, что, в целом, оно не серьезно,
просто даже смешно, если в частности вдуматься, вот.

Если вдуматься вот: то и не было-то ничего.
Поэтический сатиризм отозвался на мелочь
извержением слов неумелых, слегка онемелых,
непритворных, горячих, бесстыдных, стеснительных слов.

Спусковой механизм разработан донельзя и чуть
только тронешь его – ты пристрелен охотничьей пулей.
Пригвожден к кораблю белой ночью в июнеиюле,
алчно и алкогольно прижавшим мне руку к плечу.

Неразборчивость в том, как пристроить гармонии всплеск,
возмутительно напоминает гормонов музыку,
сочетая нас связью разорванной, разнаязыкой,
отрицающей связь, карнавально снимающей mask.

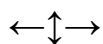


По-над Невскою водой
страстно-пьяный и седой
целовал меня Свербенский
щекотливой бородой.

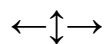
В рте его моя рука
пряталась от сквозняка,
от прогулочно-речного,
сбивчивого, как строка.

<...>

Плыли мимо города,
пароходы, поезда,
он же звал меня куда-то.
Вот такая борода.



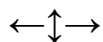
Самое противное, что мне не противно, мне приятно
(ты стоишь на речном ветру, выдвигая челюсть,
твое лыко вяжет узоры в моей ладони,
и твоими руками залапано фото, все же...)
мне безумно приятно трогать короткий ежик
на седой голове губами и, цепenea,
различать внутри распускающийся болотос,
поднимающийся из воды в замедленной съемке.
О, мой Бог, что внутри меня, драгоценность в сердце,
совпадение чисел и чресел от ома к хуму.
Удивительно, что снега моего либидо
всколыхнули пары спиртные на невской лодке.



Страстью неутоленной уста обветрив,
шась сублимировать над бумагой с ручкой,
жарко дыша, язык от старанья свесив,
лечь на подушке вялой мечтать о многом.
(Эх, познавая много, не опечалься,
не озаботься чем-нибудь еще большим...).

Свой развращенный ум заперев в наивном
теле, возьми себя в руки и на фиг выбрось.

Шел, говорят, он шел и уперся носом
в нечто такое, что, в сущности, им являлось,
взял он тогда его за его же кончик
и соответственно с ним и обошелся.



Ты – пользователь. Ты да я,
мы оба – пользователя.

А кликни на тебе – так нет
такого в жоппе интернет.

А где ж тогда тебя искать,
когда так тискает тоска
в тисках и пассатижах снов
земных, что больше – нету слов...

И дико из глубин себя,
порывшись, доставать тебя,
обсматривать, держа за нос,
и класть на музыку к стиху.

Выбрасывать. Ан посмотри
ж ты, снова у меня внутри
болтаешь ножками, блестяшь
очками, Господи, прости.

О, Yandex, побери! О,5
ты память отправляешь вспять.

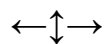
И gambler принесет в зубах,
виляя сайтами, тебя.

Hi! – не тебя...

Он еще не off,

он еще on.

Тяжела зимой – осень, нимб набряк
неба – тишиной снега, язычок
листьев, задрожав в глотке ноября,
закартавил г, заморгал свечой.
Холодно у вас да в покойницкой,
сводит зубы дробь капель по глазным
яблокам (кусай), дальше, за рекой
кол в меня со всей яростью всадил
Молодец один.

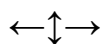


Какое доброе утро! Доброе утро, утро!

Тундра, дремучая радость еловых веток,
пляшущих в солнце, поющих в весеннем ветре.

Так восклицала бы этот нелепый подстрочник
к стихотворению мира бы и восклицала!

Так бы и шла на работу до самого дома
вечером – к утру, уменьшившемуся внезапно
до – ровным светом горящих внимательных окон.



На свет повернувшись, впадая в поток
весеннего утра и острого счастья,
в холодном, распаханном настезь, пальто,
иду на работу размашистым шагом.
В холодном, заплаканном небом, глазу
круглятся хрусталика хрупкие грани,
везет же тебе, я тебе привезу
цветные цветы голубиным и ранним.
Весь калейдоскоп настоящей весны,
весны наступающей, к глазам подступившей
внутри и снаружи, косметику смыв,
красивой такой, что пером не опишешь,
что в сказке не скажешь, что в тайне от всех
прошепчешь, смолчишь, пронемеешь стихами,
и счастье, растущее ветками вверх,
трясется от смеха и пар выдыхает.
Тот свет, где немецкий действительно нем,
ничем не отличен от этого света,
пронзающего нашу жизнь по весне
до той, никогда не настанущей, смерти.
Но ты меня жди все равно. Все равно,
я сумки уже собрала и подарки,
и брежу твоей световой стороной.

Где мой ты?

Это голубь просквозил в небо,
это в храме Покровском идет молебен,
это голову так похоже повернул прохожий,
что мурашки по коже.

Ты на небе.

Небо доотрицает
содержанье собственное, мерцая
глубочайшим смыслом от высоты,
где мой ты.

Костно-язычно молчать в уголку
рта, сигаретой чуть теплясь дремучей.
Дождь, говоришь...Я тебя сволоку
с самой закучливой траурной тучи –
нечего, пятки босые спустив,
время колечками дыма считая,
так свысока на меня нагрустить
море дождя. Море не перестанет.
И сигарета звезды за стеклом
так телевизорна и телескопна.
Хватит дымить, неужели не в лом
и на том свете с куренья усопнуть?!
Мрачные тучи мне тут накурил,
скоро и звездочки станет не видно.
...«Дождь» – ты во сне мне, живя, говорил
и сигаретой привычно травился.

тихо комната так пусто
вглубь распахнута и вширь
сверху видно ни души
отлетающая с уст и
ускользающая ввысь
бабочкой пуста квадратна
не свернешь ее обратно
в замкнутость замкнись замкнись
комната светла прохладна
ладанна освящена
бездыханна тишина
тела убрано нарядно
в гроб нам кокон дорог был
твой летающая спящий
тень его так страшно пляшет
на ладони у судьбы –
огненно по всей побелке
не отбрасывает тень
бабочка и в темноте
светится свечой победно

Синоптик, синоптик, выгляни в окно,
высунь твой нос наружу.

После дождя тут пиршество, нос
синоптикович, так пахнет
запах прохладный, мокрый асфальт,
листья, скамейки, лужи,
высунь твой нос засвидетельствовать
счастье дышать.

Ну, во-первых, больно, как вырви глаз
или зуб – оставить тебя. Так больно,
что не страшно боль терпеть (вот те раз)
ожиданья боли, а это больше.

Оставлять в утробе, носить всю жизнь
эмбрион разлуки и паранойи,
вот те два – оставить тебя. Кажись,
ты сيامски сросся уже со мною.

Ничего, что мы умерли (вот те три),
перечитывая, как инфо на таможне,
надпись на жизни – sugar free.

Диабетикам можно.

толковые словари не могут растолковать
из них уже вышел толк и ручкою вслед махнул
как можно вот так любить чтоб так потом ревновать
чтоб так не любить потом – до тла превращая в хну
your heart, все дела, main hertz
ведь даже ведь не вопрос
любовь ли твоя любовь
но в рану вложу ли перст
но суну ли в сердце нос

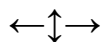
Господствует сентябрь. На головах
златятся кроны трепетно и влажно,
министр дворник с древностью бумажной
в совке идет, и стелется трава...
(Вчера он был дровами на траве,
отсюда уст переворотный смайлик
и тремор длани. Общая помятость
передает торжественный привет
морщинистой сюсекундной луже).
А это я из дому выхожу,
иду, иду, нет, все-таки брожу
по кружеву (а, между тем, снаружи
всем кажется, что я иду себе
на службу, может, просто раньше вышла...),
а на ковре печальным счастьем вышит
прошедших дней остановимый бег.

баба абба поет на мобильнике что-то про мед
это ты дорогойрываешься от нетерпенья
ничего потерпи потому что – и это пройдет
и тем более – то но останется пепел и пенье
будет громко кружить над затухшим осенним костром
бомж достанет легко и помочится прямо на пепел
шепеляво сразившись с последней закатной искрой
баба абба поет но и это пройдет постепенно

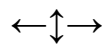
Облик осени сквозит в ветках неба
и в рогатом настороженном монстре,
про который, говоря, что – троллейбус,
понимают, что живой (одна морда
чего стоит...). На дорогах разбросан
хаотически хронический шелест,
осень шепчется, шуршится белесо,
озирается, свернув себе шею.
Осень, что это? Очнись, полюбуйся:
у акации рожок пахнет сладко,
он раздавлен пешеходом обутым,
он оставлен миром в мокром осадке,
неразборчиво помешан с листвою,
и удар его пронзительно точен.
Так охотятся на смерть из двустволки,
обрывают речь серебряной точкой.

Сшитые белыми нитками утра
сутки расходятся надвое резко,
в свете рассвета двор хмур и неубран,
даже сквозь вздрогнувшую занавеску
тютелька в тютельку пьян и похабен,
крышею черною скошен и скривлен,
чешется дворником дыр и ухабов
возле подъезда, колдует там кривле,
крабле клешнями и пятится боком
с длинным совком продолжающим клешни,
бумс до чего же с утра одиноко
стекла звенят и зловеще.

цицерон цезарь горацій катулл вергилий
золотая латынь просыпающаяся светом
сквозь прорехи времени сказанные другими
в нестерпимой яви доступной одной лишь смерти
от паденья римской империи до паденья
с высоты олимпийских круч – на лопатки в скудный
огород петрушки где я озираюсь где я
забывая тем самым уже навсегда откуда
но кольнет знакомо номер четыре семь шесть
в лобовом стекле автобуса как в музее
крутанется улица и остановит сердце
а глаза людей окажутся колизеем



Строчки ушли,
как за дудочкой крысы, ушли
строчки совсем,
за хвосты их лови и души...
сядь и сиди, и смотри – ничего не пиши,
строчки ушли,
в самом верхнем регистре спаслись,
ввысь унеслись,
в небо-озеро – небо-воды,
где их искать, там уже и не видно руки,
пишущей их, выполняющей жажду строки –
быть. Извини, что не выдадут даже следы
места и дня – для обрыва грядущего вниз –
вниз головой под откос и лежать под мостом...
Строчки ушли, с переполненным жемчугом ртом,
так и не став.



Как возвращение потенции –
неловко радоваться вслух,
но ведь не скроешь ночь бессонную
великих полную побед.

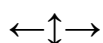
И каждый раз боишься слабости –
не встанет ручка, не захочется
бумагу уложить и втиснуться
словами в столбик стиховой.

*

Карандашный набросок, рисунок пером,
топором, земляничною влагой.

Не ходи по бумаге, иди в огород
изучать по теням деванагор.

По теням и по бликам, по их переснам,
по сплетениям светлым и зрячим,
во весь голос молчащим (блеснула десна
от улыбки, которой я плачу,
потому что давно уже нету внутри
твоего светозарного лика,
потому что ты мертвый, как этот санскрит,
на котором молчит земляника).



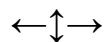
Даже дверь заложили, в которую Вы
вышли (гдé Вы?), где «вы'» не приставка, а за –
заиканье и – местоименье.

Дверь же замуровали, замазали, за –
так нелепо – лепили, и Вас там нельзя
разглядеть, и до дна напрягая глаза,
потому что Вы сделались тенью.

Или так не бывает со светом?.. Когда
я, в гвоздику вдыхав всю себя и отдав
стекленеющий красный цветок, сквозь рыда –
не мои, подошла к сновиденью –
Вы стояли поодаль себя и, светясь,
улыбались, и наша не рушилась связь,
потому что ни смерть, ни другая напасть,
не по правде, а по наважденью.

Но живые еще и от жизни устав,
как кощеева смерть, мы запрятаны так
многослойно, что неповоротливый tongue
наплетет миллионы историй
прежде, чем этот селезень с этим яйцом
из меня воспарит, сын мой станет отцом,
и, склонившись ко мне с виноватым лицом,
земляное и перстное в море
оттолкнет – заколеблется в волнах ладья,
и в восток потечет, вверх, на небо, где я
в дверь из света войду, отраженьем двоясь,
и исчезну... А дверь заложили,

потому что Вы умерли. К мертвым проход
закрывает восход и плывет пароход
к той черте, за которой свершен переход,
к той черте, за которой Вы живы.

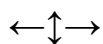


Молчанье обрушилось, сонно искрясь
в ресницах ребенка везомого в санках,
в дыханье кого-то, сказавшего: «сам ты...»,
махнувшего щедро перчаткой и в пляс
пустившего тень уходящего тела.
Но рта не раскрыть. Только рыбой лежать,
испытывая на себе благодать
молчанья, уже возводящего стену
прозрачной, прореженной воздухом, тьмы.
И ошеломительно падать и длиться,
подтаивая на ладонях и лицах,
стоящей, в несущихся мимо, зимы.

Третье декабря точка с запятой
ожиданье сме – смелых затяну –
нулось, бы-бы-бы, надо бы согре -
цца бы за плитой (где бы мне уснуть)
двоеточие в третьем декабре
в тридесятм бре многоточие
жили, декабря снегом и водой
хочется на свет (где уже мой дом)
двоеточие очень хочется.

Третье декабря точки и тире
помогите мне соберите мя
мяу родила четверых котят
в темноте еще всех слепых еще.

Разыщу сосок в теплой темноте
меди-та-ция! Родила меня
кошка мать моя мягкая моя
третье декабря спи.



...и ты стоишь – огромный и седой,
серебряный – весь в инее и блестках,
и бородой сметаешь ветер в соснах,
вот так его, налево, бородой.

Я вырасту и верить перестану
в тебя тогда...Но будет ли – тогда? ..
и у меня такая борода,
я стану дед-морозом мира взрослых.

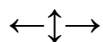
Пожалуйста, будь добр, холодный Бог,
к озябшим птицам, падающим с веток,
свисающим в сметающийся ветер,
мятущийся метущей бородой.

Глаза твои – подкачены, белы,
шаманишь ты, волхвуешь, дышишь паром,
ты – странный. Неживой. И ты не даром
задариваешь маленьких живых.

Ты – страшный, ты немного Посейдон,
немного – Зевс, и голос твой, как громы,
и ты стоишь – огромный
и седой...

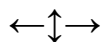
Это утро – вечер. Февраль. Достать
ли кого-нибудь беспробудным плачем?
Или спать, и падать, и вырастать
над собой, шатаясь сосновой мачтой?
Треугольник верха пушист и синь,
и уходит в синь-голубую-зелень,
но о чем у Господа не спроси,
ничего не скажет – покажет Землю.
Сколько сосен здесь полегло в лесах,
весь собор и дом из усопших сосен.
Легкий луч пытается в них плясать,
но дробится, гаснется, переносит-
ся в зеркальные витражи,
возвращаясь с яростью беззаветной.
Тайна смерти в том, чтобы пережить
безответность.

ничего не заказывать просто чуть-чуть посидеть
за холодным науличным темно-коричневым тэйблом
проступая сквозь дождь – без движения, так – постепенно
без движения, так, посидеть, улыбаясь себе,
ничего не доказывать, руки сложить, как немые
(как бы голову может быть можно однажды сложить)
подойдет официант закричит на меня: докажи
что верблюды что люблю что вопросы я ставлю прямые!
ничего не доказывать сделать лицо глухаря
слепоря неморя неторырю свинячую харю
и об тэйбл еёю внезапно с размаху ударить
трям



Сложносочиненность жизни подчинена
правилам, не изложенным достоверно,
самая незначительная величина
находится в центре своей вселенной.
Так и вокруг меня все заведено,
иногда сгущаясь, порой разрежаясь,
заряжаясь в свинье, замурованной,
кое-чем раздвоенным и ужасным.
Все здесь рифмуется, попадает в ритм,
в динамизацию каракатиц речи,
все совершается у меня внутри,
и мир становится – очеловечен,
антропоморфен в строении рук и ног
всякой двери и стула, восьмерка длится,
и этот мир заходит за мир иной
американской горкой у речки Стикса.
Круто и – с гиканьем мы улетаем вниз,
плещемся, плющимся и освежаем память,
словно белье, и вновь выпадаем из
небытия, но что-то уходит с нами.

в это пламя сквозящее мимо пространств
заплывает зрачок и не видит другое
голос хора церковного жаром костра
опалает все нёбо сведенное горло
расписного собора, а пламя летит –
с фитилька в бесконечное странствие духа
и становится звуком вон там на пути
к тишине Его пламени ставшему слухом



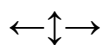
Глаза рисую на деревьях, в ветках
зависшие с нелепостью дразнящей,
в них дождь идет – чернильный, незаметный,
помехами ворвавшимися в «ящик».

Глаза твои, моргающие мелко,
боящиеся, знающие меру,
спадают на дорожку и скамейку
осеннего скучающего сквера.

Один же глаз, в мою ладонь попавший,
я буду греть, шептать ему молитвы,
чтоб только спасся – глупый, на распашку,
упавший из гнезда, чего боишься?

Я буду греть и руки загорятся
свечением белесым, и прозрачно
отпустят ввысь – из сундука, из зайца,
из селезня, яйца, иглы – незрячесть,
а зрение – останется. Вернется.

И заболит от вспыхнувшего солнца.



*Вот наступит восемь,
что мы будем девять?*

А. Левин

Наступает она. На ступеньках хрустят от шагов
облетевшие письма, пергаментно в дудки свиваясь,
в фиги, в фигушки. На фиг разводят на плитах огонь
в память вечным кому-то, погибшим, вернувшись?
Скоро девять часов. Девиации речи и снов
позволяют сказать и увидеть за временем вечность.
Но восьмерка встает, наступая на собственный слог,
превращаясь в семерку и приобретая конечность.
У него костыли. Он идет, загребая листву
наподобие лодки, и взгляды отводят другие.
И его бесконечность не трогает, по существу,
их гибель.

Потому что Бог – ребенок,
вдумчиво и бескорыстно
сочиняющий нам игры,
иногда и впрямь смешные.

Мудрый ясноглазый деспот,
знающий от нерожденья
все про глупых взрослых, мудрость
закопавших в старых детских...

Потому что Бог – ребенок,
дай ему любви и сказок,
не проси его о многом,
потерпи, он подрастет.

Грустно до чего! У меня внутри
кто-то ходит врозь, руки распростав,
и шаги его, стук его и скрип
(он – шаги его) могут вовсе стать...
как часы стоят, как колонны и
грусть в моих глазах, соляной раствор,
магний...тишина. Он поломанный.
Покалеченный. Человечек Твой.
Человечек, друг, не части и не
замирай, в кулак сжав себя тесней.
Что с тобой стряслось? На твоей спине
горб. Ты окрылел? Смерть.
Пи-и-ип, – я говорю. Длинно так, тяну
линию строки ввысь, на ультразвук.
Он не слышит, нет, и идет ко дну
всех желудочков, ног и рук.

Вздыхают стволами, низами, басами,
со всей неказистостью потусторонней
по следу вдогонку мне ветки бросают,
как будто хоронят.

Я боком их вижу, внимательным краем,
своим черно-белым отчетливым зреньем –
в упор же – застыли – и прежде, чем раньше,
стоят, бронзовеют,
желтеют, краснеют, бумагой, касаясь
в эпистолах струн потаенных, глубоких,
о мне (дождевеющая и босая)
беседуют с Богом.

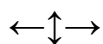
Хоронят, прощаются, всхлипы и всплески,
и руки ломают в смятение последнем,
а я не умру, этим утром воскресным
я выйду из смерти.

Дойду до конца измененного парка,
но с края Земли не взлечу и не сброшусь.
Все слезы, весь насморк осенний насмарку
пошелся похоже...

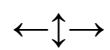
Легкие стаи тяжелых больных времерей
не улетают, слетаю, спадают, ложатся,
времени съев, обглодав и совсем постарев
(если упал, будь любезен еще и отжаться).

Странное время со мною побыло и, сквозь
руки пройдя, обнаружилось где-то вначале.
Я проницаема («кто ты?» подумало вскользь
и уплыло) и водой меня долго качало.
Пело, качало и вот уронило в лыбель
тело, качало, остатки обеда, и вилкой
так поманило другого кого-то к себе
словно бы школьный директор за глупость, провинность.

Дерево времени, времное древо, на нем
высохнут наши плоды до чудных погремушек.
Как мы узнаем его?.. Потому что уснем,
деревом станем и скажем себе потому что.

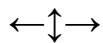


расслабиться и пусть себе плывет
весь вещный мир тусящий за окошком
поблекших глаз
с стаканом наклоняясь
ко мне из комы выйдет
кто-то черный
и головой как гривой взмахнет
я сяду на —
поеду в —
и скроюсь
я — скорый поезд
и гудок мой длиннн
мой долог дым
мы были молодым —
и старыми мы стали
на раз-два
я выгляну но во дворе трава
по-прежнему примята дровами
уже мертва уже-еще мертва
весна в подвале гулом поднимает
на новый рост и сквозь меня дыша
безумною кобылой прет наружу
и радуется остекленевший взгляд



К сердцу прижав
теплую выпечку принтера из РГБ,
я вечераю на лестнице.

Ходит-ходит к' мне гугуев,
хочет нечто, смотрит в лоб,
как винтовка. Не могу я
дать ему – за что?! – зачет.
А гугуева влечет
к мертвым языкам не часто,
лишь в конце семестра страстью
он объят, как чёрт-те-чѐ.
Не люблю я должников
долгом страшных, беспощадных,
ни гу-гу не отвечавших,
на гу-гу он мне таков?!



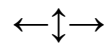
Никто не встает же так рано – одни
собаки и дворники спят мне навстречу,
задумчиво, молча, друг другу сродни
мы движемся в вечер.

Туманные головы наши, едва
подвешенные кукловодною нитью,
качаются в такт к голове голова.
Мне снится,

что я захожу, и студенты стоят,
живые, но с косами, с косоглазами,
и ждут улялюм от меня. Видно, я
их щас растерзаю.

Клыкасто ослабившись, землю порыв
копытом, я ведомость жутко раскрою,
и смачно поставлю молчащим колы
их кровью.

Доварю рис, говорю. Говорю: доварю рис!
И перезвоню. Перепишу жизнь
с образца по всем правила ВАКа,
что нам погода, ее гипертонический криз?
(вот ведь собака!). Ложись,
я подежурю у койки своей до завтра.
Завтра на завтрак рис с молоком и медом
(экая дрянь!). С сыром и чесноком.
Страшно в себя погружаться, как яйца в (кипящую) воду
(тридцать!) Тяни меня за уши, пусть оно корчит морды,
время вставать, выходить, вырывая кол
из-под лопатки, на улицу, на свободу.
Сон продолжается в каждом худом ребре,
словно налет желтоватый на мире вещном.
Или песок зыбучий коктейли пьет?
Явь проникает мне изредка прямо в бред,
выгляда большим бредом. Смешно кромешно
снится мне смерть, является, предстает...



На углу стоит девушка в аблятиве
(кем и чем она? да о ком? о чем?)
курит, сплевывает противно,
ожидает зачет
автоматом.

Вот тебе –

моя подпись,
иди ты...
с Богом!

*

Непотребная тварь, я молчу, опускаю глаза,
опускаю слова, от которых глаза опускают,
отпускаю тебя – это отпуск, каникулы, зал
аплодирует мне, я сегодня играю, как в сказке,
и чем дальше, тем волче, волчее, зубее, глазами
опускаю глаза, потому что в них отсветы пляшут
этой яростной лжи, разрывающей собственный зев,
потому что здесь страшно, как в сказке про красненьких пашек,
как в legend'е (читай, опрокидывай зеркало в свет,
коридоры зовут, но никто не выходит на ужин).
Уходи в зеркала, размножайся, являйся во сне,
так и буду молчать, опускаю молчанье снаружи,
не потребная тварь, старый ъ, ј такую-то мать,
издавая кноклаут, я выдохну только дыханье,
только бледненький пар, потому что – мороз, что – зима,
что – глаза опускаю, и плакаю, и высыхаю.

*

Мой друг-трансформатор из будки веселой,
сквозь вспышки скажи мне:

что – череп и кости Адама на всем, что
опасно для жизни?

Нет, ты трансформируй, ты не отвлекайся
от этого транса.

Не надо мне яблок, сыта я пока что
сей песней бесстрастной.

Но же ж интересно, нослюбопытно,
вниманиебровно –
шарахнет ли на смерть при первой попытке
заняться любовью?

А или придержит кармический ветер
удар свой, шарахнув
по детям, по детям детей и по детям
их внуков? Шарада.

Во что мы играем, не выучив правил,
не зная последствий?
И вот уже кожа моя подгорает
на солнце, на сердце...

легкошаго ноябристо
воздухом прохладным влажным
я иду к тебе по листьям
человечком бумажным
с нарисованной прической
без улыбки и без права
говорить с тобой о чем-то
кроме букв дрожащих плавных
плавающих в лужах синих
растворяющихся бледных
я иду к тебе так сильно
что они вокруг и следом
вьются пишутся по телу
а живой огонь осенний
тленной плоти восхотевший
черновик за горло треплет

*

Осень. Облетают листья, зубы, волосы, ногти
не хотят расти длинными, быть большими, работать,
всё ломаются – мол, чего там... И дальше – больше,
беззащитнее, меньше, еще немного.

Длинношеее лето губами мягкими мнет последний
теплый вечер, валяясь в траве с лошадиным ржаньем
этой девушки там, на лавке, на чьей скрижали
уже все написано. Видишь, ты тоже слепнешь,
собираясь пойти весной, протянув сквозь зиму
громогласный шепот. Так шепчет по перепонкам
барабанным сердце, когда я лежу с любимым
и ношу под сердцем сердце его ребенка,
моего ребенка. Так женщины соприродны
измененьям климата, что – нету их древесней,
я роняю листья, целуй мои корни рото-
раскрывательно гласный звук превращая в песню.
Говори мне: «Оа! Моя огромная птица, рыба
о семи крылах, не считая того плавника на спинке».
У меня скоро будет тридцать любых сезонов,
посчитай мои кольца на срезе, их ровно тридцать.

лысая

с выпавшими зубами

навстречу маю

я улыбаюсь

ветер в тюльпанах

играет

смачно щелкает мимо меня

солнце

с трещоткой в оглохших спицах

маленькая сумасшедшая птица

меня понимает

Та щека опухла, где выдран зуб
(подставляй пощечине – не хочу),
у меня три года живет в носу
ощущение, что еще чуть-чуть
и все зубы вырвут, и простота
на меня обрушится и покой
новорожденностью пустого рта
умирающих стариков.

*

Разве тебе не пора раствориться в ведре
с сонной водой, из которой выпрыгивал бука?
Завтра луна превратится в неровные буквы
в синие буквы, в никем не зачеркнутый бред.
Чайник согрев, я из лоджии высунусь в небо
мыслей Твоих и скажу Тебе что-нибудь вслух.
Лунного чаю? Из лунно-подсвеченных рук,
в них уронив – не на чай ли? – нечаянно монетку,
лунную метку, пятак на открытых глазах
(чтоб не закрылись, не спали, чтоб воду не пили
лунными ведрами). Свиньи, разбились, копилки,
все пятаки на полу и под шкаф уползла
девочка лет десяти за закатной последней
лункой прохладной и там и осталась сидеть.
Разве Тебе не пора возвратиться себе,
в гипсовый спящий посмертный старательный слепок?